

ЧИТАЙТЕ ВСЕ РОМАНЫ  
АЛЕКСАНДРЫ МАРИНИНОЙ:

Стечение обстоятельств  
Игра на чужом поле  
Украденный сон  
Убийца поневоле  
Смерть ради смерти  
Шестерки умирают первыми  
Смерть и немного любви  
Черный список  
Посмертный образ  
За все надо платить  
Чужая маска  
Не мешайте палачу  
Стилист  
Иллюзия греха  
Светлый лик смерти  
Имя потерпевшего никто  
Мужские игры  
Я умер вчера  
Реквием  
Призрак музыки  
Седьмая жертва  
Когда боги смеются  
Незапертая дверь  
Закон трех отрицаний  
Соавторы  
Воюющие псы одиночества  
Тот, кто знает. Опасные вопросы  
Тот, кто знает. Перекресток  
Фантом памяти  
Каждый за себя  
Замена объекта  
Пружина для мышеловки  
Городской тариф  
Чувство льда  
Все не так  
Взгляд из вечности. Благие намерения  
Взгляд из вечности. Дорога  
Взгляд из вечности. Ад  
Жизнь после Жизни  
Личные мотивы  
Смерть как искусство. Маски  
Смерть как искусство. Правосудие  
Бой тигров в долине  
Оборванные нити  
Последний рассвет  
Ангелы на льду не выживают  
Казнь без злого умысла  
Обратная сила. 1842—1919  
Обратная сила. 1965—1982  
Обратная сила. 1983—1997  
Цена вопроса. Том 1  
Цена вопроса. Том 2  
Горький квест. Том 1  
Горький квест. Том 2  
Горький квест. Том 3

Адрес официального сайта Александры Мариной в Интернете  
<http://www.marinina.ru>

---

---

## Записки молодого учителя

**М**еня спасли олимпиада и Алка. Нет, не та Олимпиада, которая демонстрирует достижения мирового спорта, а самая заурядная, городская, по иностранным языкам. Я не очень вдумывался, почему на эту олимпиаду послали именно меня: учился я хорошо, даже, можно сказать, очень хорошо, но в нашем классе были ученики и получше. Во всяком случае, человека три-четыре уж точно владели английским свободнее и вообще были умнее и способнее всех наших ребят. Но отправили меня. А я что? Сказали «поехать и защищать честь школы» — я и поехал. Тем более с утра, то есть вместо уроков, чем плохо? О подоплеке я тогда не задумывался. И только спустя много времени, когда случайно столкнулся с нашей англичанкой в книжном магазине на улице Горького, неподалеку от нашей бывшей школы, выяснилось, почему она рекомендовала меня для участия в той олимпиаде.

— Для мальчика с таким мышлением, как у тебя, участие в городской олимпиаде было бы совсем не

лишним для поступления в институт, — скупой улыбнувшись, объяснила учительница.

— А какое у меня мышление? — спросил я.

— Протестное.

Я учился в тот момент уже на четвертом курсе МГИМО и про свое протестное мышление все понимал, но мне стало интересно: неужели это было так заметно еще в десятом классе?

— Не знаю, как другим учителям, но мне было заметно. — Англичанка снова улыбнулась. — Я подумала, что упоминание в характеристике факта твоего участия в языковой олимпиаде тебе не повредит, особенно если ты позволишь себе некоторое отклонение от канонов при ответах на вступительных экзаменах.

«Некоторое отклонение от канонов!» Я восхитился изящным эвфемизмом и одновременно мысленно обругал себя за то, что в школьные годы считал эту учительницу злобной и вредной. Впрочем, так считали все десять человек в нашей группе, одной из трех, на которые разделили класс для изучения иностранного языка. А она, оказывается, вон какая...

Но в шестнадцать лет я ничего этого не понимал, вопросов не задавал и с тупой покорностью потащился с утра пораньше в Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, где и проходила городская олимпиада школьников по иностранному языку. Выполнял письменный перевод, поговорил с членами комиссии на тему «Красная площадь — сердце нашей Родины» и отправился в гардероб за курткой.

— Отстрелялся? — спросила меня симпатичная полненькая девчонка, одновременно со мной натягивавшая красивый блестящий плащик.

— Угу, — кивнул я.

— Ты с какого потока? С немецкого? Я тебя в зале вроде не видела...

— С английского. А ты с немецкого?

— Ну да. Тебе какой устный вопрос достался?

— «Красная площадь», а тебе?

— Серьезно? — Девчонка расхохоталась. — И мне тоже! Надо же, какое совпадение!

Мне почему-то тоже стало очень весело. Мы вместе вышли на улицу, оживленно болтая, долго ждали автобус, потом решили идти до метро пешком, потом еще немного погулять, и еще немного, и еще... Девчонка по имени Алла училась в немецкой спецшколе, и мы с упоением делились впечатлениями и сравнивали, как и что нам преподавали на уроках соответственно английской и немецкой литературы, а также рассказывали друг другу одни и те же темы, открывая для себя удивительный (на тот момент с учетом нашего возраста и наивности) факт, что в обратном переводе на русский язык наши рассказы на английском и немецком звучали подозрительно одинаково. Рассказы эти, так называемые «топики», раздавались нам учителями, мы должны были вызубрить их наизусть, а впоследствии отгарабанить на выпускных экзаменах. Правда, были две темы, которые мы должны были написать самостоятельно: «Мой любимый писатель» и «Мой любимый художник». С писателями все было просто: пишешь первую фразу «Мой любимый писатель такой-то», потом открываешь учебник английской литературы, переписываешь своими словами биографию и характеристику творчества и выучиваешь назубок. С художником оказалось чуть сложнее, нужно было переводить с русского, из статьи в энциклопедии, но тоже некритично. В итоге после четырехчасового шатания по улицам мы с Алкой пришли к выводу, что

почти все тексты для устных ответов были написаны и разосланы для перевода на все языки, преподававшиеся в наших школах. И про сердце нашей Родины все школьники страны должны были рассказывать одинаково независимо от того, какой иностранный язык они изучали в школе.

Алка жила довольно далеко, в Бескудникове, но я все равно потащился провожать ее: очень уж жаль было расставаться с такой веселой и симпатичной девчонкой. День был холодным, дул пронизывающий ветер, в какой-то момент зарядил дождь, Алка накинула на голову капюшон, а у моей легкой курточки никакого капюшона не было, я шел с непокрытой головой, и вода затекала за ворот, но я ничего не замечал.

Заметить, однако, пришлось уже к вечеру. Разболелось горло, голос осип, начался озноб. Утром стало понятно, что болезнь разгулялась всерьез. Сестра ушла в школу, родители отбыли на работу, а я принялся старательно болеть и ждать участкового врача, которого вызвал по телефону.

А на уроках русской литературы моим одноклассникам как раз в это время «давали» Горького. Первые пару дней высокая температура заставляла меня почти все время спать, однако уже на третий день родители строго потребовали, чтобы я начинал каждый день делать уроки, иначе сильно отстану по программе, а в выпускном классе подобный риск непростителен. Плохая подготовка, провал на вступительных экзаменах в институт, армия... Далее следовал подробный перечень кошмаров, включая традиционное для нашей семьи обещание, что я буду «мести улицы», потому что за время армейской службы начисто забуду всю школьную программу, никуда не смогу поступить, останусь без образования и без «хорошей работы». Под хорошей

работой у моих родителей подразумевалось то, что принято было считать престижным в их кругах — кругах партийных и советских работников. У меня насчет «хорошей работы» мнение было несколько иным уже тогда, но я молчал, не смея протестовать. Так что я честно звонил своему другу-однокласснику и спрашивал, что по какому предмету задано, читал, вникал, решал задачки, писал упражнения и конспекты. Когда Славка сказал, что по русской литературе начался Горький, я решил, что прочитать учебник успею потом, много времени на это не потребуется, а пока можно почитать произведения великого пролетарского писателя, потому что учебник — это, конечно, хорошо, но написать сочинение, не зная первоисточника, невозможно. Дома в книжном шкафу стояло собрание сочинений Горького. Я не стал морочиться с тем, чтобы выяснить, какие именно произведения мы будем проходить, и начал читать наугад. Доставал том и смотрел содержание: если там были статьи, дневники или письма — ставил снова на полку, если художественное — уносил к себе в комнату.

Первым произведением Горького, которое я прочел, был роман «Дело Артамоновых». В общем-то про Горького я слышал с самого рождения, и имя его обязательно упоминалось в связке со словами о революции и ведущей роли пролетариата, поэтому я был настроен на то, что прочитать мне предстоит нечто весьма пропагандистское, похожее на те статьи классиков марксизма-ленинизма, которые нас заставляли конспектировать на уроках истории и обществоведения, уже заранее внутренне морщился и кривился и утешал себя привычным и скучным словом «надо». Надо, иначе не сдашь ни выпускные экзамены, ни вступительные.

Когда я перевернул последнюю страницу, мне показалось, что меня обманули. Еще и еще раз перечитал последние слова, которыми заканчивается роман: «Не хочу. Прочь». Слова, произнесенные с лютой яростью. Как?! Это все?! Как будто я смотрел невероятно увлекательный фильм, и вдруг пленка оборвалась, и киномеханик сообщает, что «кина не будет». Растерянность от неожиданного окончания текста через несколько минут сменилась удивлением: мне было больно. Сейчас смешно об этом рассказывать, но тогда я буквально чуть не плакал. Мне было жалко Петра Артамонова, который всю жизнь страдал от того, что «не понимал» ни самого себя, ни окружающих его людей, ни жизни вообще. Тому, что в название книги выносятся либо тема, либо проблема, нас учили еще в девятом классе, и я призадумался: слова «Дело Артамоновых» обозначают проблему или тему? Если тему, то в сочинении придется писать о том, что само по себе дело, то есть становление фабрики и ее развитие, является самостоятельным и даже главным героем романа и все вокруг этого. Если же это проблема, то придется рассказывать о том, как капиталистическое производство калечит души и сердца людей. Алгоритм «правильного чтения и правильного понимания» был вбит в нас намертво, и все эти нехитрые правила понимали даже троечники, а я был все-таки отличником, да и вообще мальчишкой неглупым. И давно уже научился подавлять в себе раздражение, вызываемое навязанными в зубах формулировками об обличении буржуазии, дворянства, мещанства, о загнивающем капитализме и прочем.

Получалось, если судить по названию романа, Горький хотел написать книгу именно о «деле». Но во мне, шестнадцатилетнем, ослабленном высокой температурой, в тот момент взыграла сентиментальность: из

головы моментально выветрились все упоминания (надо заметить, весьма немногочисленные) о рабочем движении и о деятельности полиции по выявлению и искоренению революционно настроенных активистов, зато с каждой минутой все ярче и ярче вставал перед глазами образ несчастного человека, доброго и хорошего от природы, но лишённого возможности любить и способности понимать. Он ведь готов был любить Наталью, свою жену, и то, что между ними какое-то время происходило, вело, казалось, к благополучному развитию: сидели они рядышком по вечерам в своей комнате, смотрели в окошко и рассказывали друг другу, как день прошёл... Помнится, на этом месте я так обрадовался! Очень мне хотелось, чтобы брак у Петра Артамонова оказался если не счастливым, то хотя бы просто удачным. Ан нет. Наталья мужа только терпела, а засматривалась на его двоюродного брата Алешу. Зато родной брат Петра, горбун Никита, любил Наталью именно такой любовью, о которой, наверное, мечтают все девчонки: восхищенной, нетребовательной, безоговорочной, преданной. В общем, бабский сироп. Когда я читал о том, что Никита пытался повеситься, поняв, что Наталья плохо к нему относится и считает неприятным, мне почему-то не было жалко горбуна. А вот Петра было жалко на протяжении всей книги. И особенно — в тот момент, когда он с отчаянием чувствовал, что не может найти правильных слов, чтобы объяснить сыну-подростку, отчего поступок мальчика дурен, и принимает решение: бить. «Он не находил, что и как надо сказать сыну, и ему решительно не хотелось бить Илью. Но надо же было сделать что-то, и он решил, что самое простое и понятное — бить». Это было в первый раз, когда Артамонов поднял руку на сына. А жену Наталью он поколачивал и до этого,



затылком об стену бил. Но схватить за горло взрослую женщину в представлении Петра было не тем же самым, что оттащить за вихры десятилетнего мальчика. И Петр искренне мучается, страдает, понимая, что убеждение словом лучше и правильнее, нежели рукоприкладство, и осознавая, что действовать словами у него не получается. И никак не может понять, почему же это не получается. Он не понимает смысла, не видит глубину, не чувствует внутренних механизмов. И почему-то мне было до слез жалко этого Артамонова, всю жизнь несущего на себе непосильный для него груз ненужного и непонятного дела и непонятных ему самому чувств, которым он не может даже названия дать. Потолок его понимания — скука. Скуку он понимает, а чуть дальше — уже нет. Поэтому он не понимает одиночества. И не понимает любви.

Я решил дать роману отлежаться в моей воспаленной голове, не делать скоропалительных выводов и почитать еще что-нибудь. Взяться за «Фому Гордеева». Правда, Славик сказал, что русичка велела читать «Мать» и «На дне», но я уже понимал, что в школу меня выпишут не скоро, обычная, на первый взгляд, ангина протекала с осложнениями, участковому врачу не понравилось мое сердце, так что времени у меня впереди было достаточно, чтобы успеть прочесть не только то, что требуется по программе. Тем более если велено читать «Мать», то это уж наверняка про революцию. «Мать» подождет.

«Фому Гордеева» я прочитал за два дня и вынес твердое убеждение в том, что оба романа — об одном и том же: о том, что непонимание порождает стремление применить силу, ударить, разрушить, убить. Особенно меня поразила сцена на теплоходе, когда Гордеев начинает выкрикивать в лицо присутствующим обвинения

в разных преступлениях, в том числе в мошенничестве, растрате, растлении малолетних и даже убийстве. Ведь по тексту было совершенно понятно, что все эти преступления не являются ни для кого тайной, все прекрасно о них осведомлены, так что о публичном разоблачении речь не идет. Я читал сцену и недоумевал: зачем он это делает? В чем смысл говорить с пафосом о том, что и без того всем давно и без сомнений известно? И вдруг Горький сам объясняет: Гордеев хотел их унижить. «В нем, из глубины его души, росло какое-то большое, горькое чувство; он следил за его ростом и хотя еще не понимал его, но уже ощущал что-то тоскливое, что-то унижительное...» А перед этим, когда Фому схватили и оттащили, написано: «Теперь настала очередь издеваться над ним». Настала очередь. Значит, до этого издевался над присутствующими и унижал их сам Гордеев. Вот оно! Глухое тоскливое отчаяние непонимания доводит человека до желания унижить других. И что же потом? «Сам себе он казался теперь чужим и не понимающим того, что он сделал этим людям и зачем сделал». А ведь Фома с самого начала романа показан умным, хорошим, добрым... Книг вот только не читал, реальное училище окончил и на этом свое образование завершил. И вся книга описывает путь, по которому хороший изначально человек приходит к насилию «от бессилия» и отчаяния. Пусть это насилие не физическое, а словесное, сути это не меняет. Гордеев доходит до бессмысленной акции протеста, Петр Артамонов совершает убийство подростка, проявления разные, но корень у них один: вязкая душная тоска непонимания. Вот о чем эти романы, а вовсе не о революции и не о пролетариате!

Сейчас, когда мне двадцать три года, немного смешно вспоминать об этих моих восторгах первооткрыва-

теля, таких детских и наивных. Теперь-то мне понятно, что именно непонимание и нежелание встраиваться в существующие правила игры были (и остаются) моим больным местом, но в десятом классе я еще не осознавал это так, как осознаю сегодня. В «Деле Артамоновых» я увидел в первую очередь то, что назревало и болело у меня внутри, и в «Фоме Гордееве» я, находясь под влиянием «Дела», тоже подсознательно выискивал и, разумеется, находил то, что откликалось в сознании. В этих романах, кроме непонимания, есть еще очень много другого, важного и интересного.

Потом я прочитал пьесы, оставив «На дне» и «Мать» на самый конец. Оба эти произведения были «по программе», и из-за этого я инстинктивно пытался оттянуть неизбежное «скучное». Покончив с крупными формами, взялся за остальное, которое тоже задавали: рассказы, сказки, «Песни». С этим я справился довольно быстро, после чего наконец соизволил открыть учебник.

Могу сказать правду: в тот момент я немного, тайком, гордился собой, будучи уверенным, что вот сейчас на страницах учебника, написанного умными и учеными людьми, я прочту то, до чего дошел сам, своим умом и без подсказок. Я предвкушал свой восторг и готовился к нему, как ко дню рождения. Каково же было мое разочарование, когда ничего этого я в учебнике не увидел... Все те же унылые слова про «обличение гнивающего» и «загнивание обличенного». Учебник гласил, что идея романа — идея исторической закономерности, необходимости и неизбежности пролетарской революции, обусловленной, с одной стороны, процессом разложения и распада господствующего класса, а с другой — ростом политической активности, сознательности и организованности пролетариата, возглавляющего широкие народные массы.

А про Петра Артамонова, при мысли о котором мне хотелось расплакаться, было написано, что «постепенно и неотвратимо он превращается из простого парня в собственника — в алчное, преступное, пьяное и распутное чудовище». И ни одного даже полунамека на мысль о том, что умственная и душевная глухота порождают только злобу и тупое насилие. Насчет «Фомы Гордеева» учебник сообщал, что Горький выписал типические фигуры капиталистов, что Фома не успел превратиться в хищного стяжателя и что бунт его бесцелен и бесплоден. Да уж... Если бы я поступил так же, как обычно, то есть сперва прочитал бы учебник, то ничего другого в первоисточнике наверняка не заметил бы, с мучительной скукой продираясь сквозь обязательный к изучению текст.

Понятно, что к родителям со своим недоумением я соваться не стал. В шестнадцать лет я уже довольно отчетливо понимал и расклады, и правила. Но была еще жива бабушка Ульяна, мамина мама, которая гордо называла себя ровесницей века и про которую говорили, что она «видела самого Ленина». Насчет ровесницы века — это правда, бабушка родилась в 1900 году, и когда я учился в десятом классе, ей исполнилось 72. Она была жесткой, несговорчивой и казалась всегда сердитой, но при всем том я считал ее единственным безопасным собеседником: может, она и на смех поднимет, причем довольно грубо, и отругает, и даже накричит, но уж точно не стукнет на меня ни родителям, ни школьным учителям. Вообще никому. Наша Ульяна Макаровна — кремень, ее даже чекисты не сломали, когда она в середине 1930-х годов явилась к ним «сдаваться», держа в руках узелок с теплыми вещами, сухарями и завернутым в бумажный кулечек сахаром: понимала, что после ее признаний может немедлен-